

ЛИДИЯ СЫЧЁВА

СИЛА ТАЛАНТА

*Да, были люди в наше время, Не то, что
нынешнее племя: Богатыри — не вы!*

Есть родные люди, а есть — родственные души.

За глаза я звала его “дед-художник”. Мы познакомились в 1994 году. Ему шёл 82-й год.

Я была тогда молодая, тонкая, с тревожными большими глазами. Жила в Москве, и внешне моя жизнь выглядела почти благополучной — семья, дочь, работа по специальности. Внутренне же я была как сжатая пружина — я не стала собой, не состоялась, не вышла на дорогу своей жизни, а главное, я не понимала — каков мой настоящий путь. Брела, как в тумане. Но я настроилась “терпеть”, тащить эту лямку беспричинного, непонятного для окружающих, несчастья.

В столице мне было неуютно — я трудно приживалась на асфальтовой земле. Зато в родительском доме я будто бы находила защиту, и весь свой длинный учительский отпуск проводила здесь. Я любила наш сельский дом без удобств, любила “беседку” во дворе — времянку-шанхайку, любила по вечерам после трудового дня записывать в тетрадку “надуманное” — разрозненные, летучие мысли, “состояния”. Чувства мои были остры и сердечны, а слово “творчество” казалось бесконечно далеким, недостижимым — оно даже не приходило мне в голову.

Я сумками носила из районной библиотеки книги, и это было иное, чем сейчас, чтение — оно впитывало и запах сена, которое складывали днём в сарае, и ночной, звонко-неожиданный стук падающих яблок в палисаднике, и вечерние закатные дали, созерцаемые с лавочки у ворот — в этих видах было много неуловимой, сердечной грусти. Молодость моя была чистой, красивой и мучительной — ещё не появилось даже и предчувствия перемен, ещё не брезжила заря иной, неоткрытой жизни.

Как-то в библиотеке я взяла альбом “Художники Третьяковской галереи”. В тот день мне нужно было позвонить в Москву, и я зашла на переговорный пункт, где, как всегда, собралась небольшая очередь — в пять-шесть человек. Я заказала разговор, и не выдержала, достала из сумки альбом и сразу же “отключилась” от действительности, вглядываясь в красочные иллюстрации.

— Нравится?

Подняла голову: дед в серых портах, в заношенной рубашке, в тапках на босу ногу – пятки голые, хитро, с прищуром глядит на меня. На коленях у него – парусиновая кепка. Кажется, еще при Хрущеве такие носили. В общем, затрапезный дед в очках (дужки – с резинками, с верёвочками), без каких-либо черт интеллигентности или номенклатурности. Кажется, даже с палкой в руках, наподобие тех, которыми утром у нас выгоняют коров в стадо.

Как можно проще, популярней я объяснила деду, почему такие картины не могут не нравиться и зачем они нужны людям.

Выслушав мои снисходительные речения, дед качнул головой и одобрительно хмыкнул:

– А ты приходи ко мне, я тебе много интересного покажу, – и на обратной стороне квитка, что выдавали нам телефонистки, он написал крупным, чуть угловатым почерком: “ул. Герцена, 41. Ткачёв Михаил Евдокимович”.

Тут раздался голос в динамиках, и нас развели по разным кабинкам – дед звонил в Ленинград. Пока я докрикивалась до Москвы, пока выправляли связь, пока я толкалась у кассы, чтобы доплатить за новые минуты, дед уже ушёл. Но мы, конечно же, встретились...

Много раз потом я поднималась вверх по этой белёсой от глины улице, известной всем местным пьяницам – в угловом доме находился медвырезатель... Всегда это было лето, чаще – жара, зной, дрожание прозрачного воздуха. Серая, густая, тяжёлая пыль по обочинам дороги. Словно застывшая обыденность провинциальной жизни – тяжеловесная, скучная. Только редкая машина проедет по сонной улице, или кошка пробежит. Но вот я миную проулок, вот эта скромненькая неприметная калитка, сбитая из некрашенных, серых от времени штакетов, вот дорожка вверх – вся в розовых цветущих мальвах, тропка огибает груду огромных камней, слежавшихся, тронутых мохом, вот старое абрикосовое дерево – сучковатое, раскидистое, несколько оранжевых тыкв на маленьком огорожке, а впереди уже весело сияет голубенькими ставнями старый домишко (наверное, самый маленький в нашем городке), а под деревом, в тенике, старый мольберт, и здесь на самодельном столе модельного стола старый дед-художник что-то строгаёт ножичком... И всё в один миг волшебю менялось – я будто переносилась в совершенно другой мир. Это было пространство свободы, творчества и душевного отдохновения.

Наши отношения установились сразу, с первого моего посещения “мастерской” – так Михаил Евдокимович называл свой двор. Огромная разница в возрасте, в опыте жизни, а главное, в количестве сделанного не разделила нас. Мы познакомились, когда за душой у меня не было ничего, кроме двух “импрессионистских” заметок, напечатанных в центральной газете. Дед же, напротив, написал столько, что с лихвой хватило бы на нескольких хороших художников. Что-то он во мне увидел, почувял, угадал, или я была такая самоуверенная – от постоянной неуверенности в себе?!.. Как бы то ни было, но наши разговоры почти с самого начала носили равный характер.

Моя мама поощряла эти походы и всегда расспрашивала о них подробно. Она была натурой сильной, художественно одарённой и видела мир иначе, чем окружающие.

Сама же я, занятая своими внутренними метаниями, не сразу оценила драгоценность наших встреч. Только сейчас, вглядываясь в прошлое, я понимаю: без знакомства с дедом-художником вся моя жизнь могла сложиться по-другому. Он был первым выдающимся человеком из мира искусств, который встретился на моём пути, и, конечно же, вольно или невольно повлиял на моё становление. Я увидела богатство его духовной жизни, скромность его повседневного быта, его картины, которые рождались здесь же, во дворе или у нашей небольшой, затиненной речки. Я почувствовала, что творческая работа может приносить не только мучение, но и счастье – зримое, материальное, чудесным образом запечатленное на его холстах. Я поняла, что счастье это возможно и для меня, если я буду идти к своей, пока ещё смутной цели, преодолевая постоянные сомнения и бытовые “баррикады”, возникающие на этом пути.

Наконец, дед в чём-то повлиял и на моё письмо – мне легко стал даваться жанр, “этюды”, короткие зарисовки с натуры. Это было похоже на то, как работал Михаил Евдокимович – запечатлеть настроение солнечного утра, или

яркость летних красок, или осеннюю щедрость земли – тут ему не было равных; он писал эти картины быстро – “а-ля прима”, за один приём, чем всегда удивлял коллег-художников. И, как правило, в этих работах уже нельзя было что-то поправить, изменить, точно так же, как невозможно “улучшить” прожитый день. Это качество – восторг перед мгновениями красоты и стремление их запечатлеть – нас роднило. Мне тоже хотелось выхватить из потока повседневности яркий диалог, или передать изумление щедростью вишнёвого дерева, осыпанного зрелыми плодами, или поделиться настроением ликующей, напитанной созерцанием высокого неба, души... Так рождалось – через хаос красок, смешанных на палитре, – новое понимание счастья – непередаваемая, ни с чем ни сравнимая радость, которую дарило воплощенное вдохновение.

Конечно, и “дедовское” искусство, и мои первые “картины” с натуры – всё это было бесконечно далеко от того, что считалось в середине 90-х годов модным и передовым в живописи и в литературе. Мне, разумеется, хотелось “шагать в ногу со временем”, и я честно пыталась постичь логику “нового искусства”. Но вот я приезжала домой, видела постаревшие лица родителей, гладила по спине заматеревшего кота – хвост трубой, гибкая спина, крепкие лапы с перламутровыми когтями; задумчиво смотрела на тополь, который неторопливо потряхивал серебристой гривой листвы, и чувствовала себя совершенно счастливой, до краёв наполненная беспричинной любовью, обнимающей всю округу. Всё “модное” таяло без следа – оно не выдерживало сравнения с подлинным...

В домике у деда (низкая притолока, земляной пол, крохотная прихожая – она же кухня, и зальчик-горница с маленькими окошками, тут художник хранил свои работы) несколько лет висел его старый – 80-х годов – автопортрет. Без рамы – холст прибит к стене гвоздями. С картины смотрел высокий, статный мужчина, с густой седой шевелюрой, с горьким, чуть надменным взглядом. Художник, похоже, не особо ценил эту работу, если оставлял её на зиму в домике (хибарку почти ежегодно обворовывали местные бомжи и пьяницы; уносили они, впрочем, не произведения искусства, а посуду, утварь, подушки, одеяла – всё, чем могли воспользоваться сами и что представляло интерес для их приятелей). Потом картина исчезла – кажется, Михаил Евдокимович подарил её кому-то из местных.

На шестом или седьмом году нашего общения у меня мелькнула мысль: придёт время, и мне обязательно придётся писать “портрет” деда, так что не худо было бы загодя сделать заметы для памяти, письменные зарисовки... Но я отогнала эту идею – мне не хотелось омрачать наше общение ничем “профессионально-корыстным”. Да и что, в сущности, нового могла сказать о нём я, если сам он сделал так много?! Дед даже толком не мог сосчитать свои работы – по одним прикидкам получалось девять тысяч, по другим – девять с половиной... Гигантское, фантастическое число! Картины его скупались часто за бесценок – и здесь, в Калаче (“этюды в обмен на продовольствие”), и в Ленинграде, где его коммерческие дела вела дочь Наташа. Он отнесился к этому благодушно, хотя иногда – незлобиво, скорее, философски – ворчал, жаловался мне. Но дед знал цену своим работам, и теперь, когда ничего нового он уже не напишет, картины его продаются недёшево – в одной из интернет-галерей “Весенний пейзаж” 60-х годов (хорошая работа, но у Михаила Евдокимовича есть и намного лучше!) выставлен на торги за 20 тысяч долларов...

Жил он скромно – не от жадности (напротив, дед был на редкость щедрым человеком), а от того, что главным для него была работа, творчество. Я никогда не видела на нём роскошной одежды, и это не вызывало у него особой тоски; переживал он за другое – ему не хватало холстов, привезённых из Ленинграда. И тогда в дело шли картонки, крышки от посылочных ящиков (один из этюдов, подаренных мне, как раз на такой основе). Он сам сбивал рамы для картин – чуть ли не из расщеплённых пополам черенков для лопат (получалось здорово!), сам варил клей для грунтовок из рыбьих костей и чешуи... Его бытие на улице Герцена – гимн труду и житейской стойкости: представить только – 80-летний, а позднее и 90-летний старик сам себе готовил еду, стирал, сажал и убирал огородик, а главное, творчески работал – и как!..

Каждое новое лето, шагая к его домику после годового перерыва, я внутренне напрягалась – вдруг живопись деда стала немощной и старчески-беспомощной, и мне придётся его хвалить и подбадривать из вежливости?!

И каждый раз он опровергал мои сомнения — среди двух-трёх десятков этюдов и картин, наработанных к августу (обычный месяц наших встреч), всегда находилось несколько безусловных шедевров. Да, это были повторы или вариации привычных калачевских тем — “Родной домик”, “Мой двор”, “Летний натюрморт”, “Старое дерево”, “У реки”, — но всё это было свежо, живо, неповторимо, будто бы написано впервые и ни на кого не похоже! Картины его дарили радость и особенное наслаждение полнотой жизни. Его пейзажи и натюрморты были одушевлены, сделаны как бы на одном вздохе, и потому от лучших его работ трудно было отвести взгляд. С годами — так мне казалось — он даже как будто стал лучше писать — и это на пороге своего 90-летия!..

Через несколько лет после нашего знакомства, когда я уже закончила Литинститут и выпустила первые книги, я попросила свою петербургскую сокурсницу встретиться с Михаилом Евдокимовичем и сделать с ним интервью для журнала “Сельская новь”. Наташа Алексютина побывала у деда, написала очерк “Солнечный мастер” — он вышел потом в нескольких изданиях. Работа получилась яркая, жизнерадостная, но мне она говорила, что ей дед жалко: “У него был такой несчастный вид...”.

Мне не верилось: в Калаче дед был совсем другим!.. Он и его жизнь в уютном домике у меня рождали не чувство жалости, а, скорее, здоровой зависти. Но, может быть, Наташа и права — “зимний дед” в Петербурге и “летний дед” в Калаче — это два разных человека. Для него, как и для меня, родные места были пространством свободы, “мастерской”, где мы создавали свои самые лучшие работы. Здесь ему никто не мешал, а помогало многое — родная земля, родное солнце, родной дом, в который он возвращался в начале мая и уезжал в октябре, с первыми холодами.

Он, конечно, звал меня проведать его в Ленинграде (на новое название он так и не перешёл), но дороги мои обходили этот город. “Посмотришь, какая у меня квартира, мастерская...” Я кивала, погруженная в свои мысли; обычно мы сидели на улице, под деревом у самодельного стола, на который я выкладывала из сумки свои гостинцы — помидоры, яблоки, груши, арбуз, дыню, огурцы — разноцветные, налитанные солнцем, дары лета. Они шли в дело — сначала Михаил Евдокимович писал натюрморт, потом всё потихоньку съедалось... Арбузы всегда будили в художнике воспоминания детства:

— Бывало, отец везет кавуны на телеге, а я сразу определю, какой красный. Много раз проверяли — ни разу не ошибся. И с людьми так же. Пустого человека сразу вижу. А откуда у меня этот талант — не знаю...

В особо жаркие дни мы перемещались в домик, дед показывал мне фотографии, вырезки из газет с публикациями о себе, каталоги зарубежных выставок, где экспонировались его картины. Мне было легко с ним, свободно. Надеюсь, что и ему тоже.

Говорили мы о разном. Иногда дед с сожалением ворошил “мысль семейную”. Зимой, когда он в городе, жизнь его такая: жена встает в час дня, садится к зеркалу и приводит себя в порядок — массаж, макияж, маникюр. Потом идёт по магазинам — за покупками или “на экскурсию”. Вечером до одури читает детективы, разгадывает сканворды или смотрит телевизор — до полной его отключки.

У деда — совсем другое расписание: он встает в шесть утра и тюпает до одиннадцати вечера. Днём никогда не отдыхает — если не идет работа, то натягивает холсты, читает, слушает радио, думает. (“Художник должен много думать!”, — часто говорил он мне.)

Это его вторая жена. Она моложе деда, зовут её Маргаритой. Портрет, написанный в 1954 году, запечатлел крепкую, властную женщину в бордовом сарафане. Сильные плечи открыты, голова чуть наклонена над шитьём, лицо сосредоточено, без улыбки.

Дед не жаловался, а, скорее, констатировал: понимания между ними не было. Что ж, обычное дело. Многие творческие люди равнодушны к мирскому, к богатству и даже к славе; взамен они требуют сущих пустяков — признания и душевной гармонии. Но такая скромность притязаний редко находит понимание: обыватели искренне недоумевают — как это, иметь такой дар и не грести деньги лопатой!.. А дед, в свою очередь, не мог постичь: разве можно жить только материальными, бухгалтерскими расчетами?! Ему-то Бог

отмерил щедро – так много, что мастерскую его в Ленинграде обворовывали четыре раза! Особенно тяжкий удар настиг его в 90-м – украли больше двух тысяч работ, лучшее, наработанное после войны, от многих картин не осталось даже фотографий...

Первая жена и ребёнок Михаила Евдокимовича погибли в войну, в блокаду. Я никогда не расспрашивала его на эту тему – из деликатности. Казалось, сколько лет прошло, и то давнишнее горе могло и поразветаться, но он, похоже, так и не смирился с потерей. Несколько лет подряд во дворе у него стояла незаконченная картина “Последнее свидание”. В полутьме комнаты на серой подушке виднелось бледное лицо молодой женщины, на постель к ней присел моряк, в руке у него бескозырка. Бедная обстановка, сгущающаяся атмосфера беды, несчастья, близкой смерти. Картина шла медленно, тяжело. Кажется, художник её всё-таки закончил...

Он иногда рассказывал мне эпизоды из военной жизни, но я слушала вполуха – знала, что дед пишет воспоминания, даже вроде бы какого-то литографчика ему дочь нашла. (“Один искусствовед приехал записывать мой рассказ, потом принес рукопись на вычитку. – А Пастернака вычеркни, – сказал я ему, – я тебе про него ничего не говорил”). Дед любил вспоминать, как в 1936 году он на армейских учениях, будучи кавалеристом, с блеском взял все препятствия, но при этом сильно ругался матом. Командир полка дал ему 5 суток ареста, а присутствующий на учениях Тухачевский отменил наказание и наградил пятьюдесятью рублями. Это поощрение и спустя десятилетия грело ему душу... А я за годы нашего общения ни разу не услышала от него нецензурного слова, более того, вопреки распространённому мнению о художниках и “богеме”, он вообще не пил и не курил, терпеть не мог алкашей. Это тоже нас роднило – грубость, развязность, болезненная подчинённость низким страстям – эти качества казались мне невозможными в людях, стремящихся запечатлеть прекрасное, и я радовалась, что дед укреплял меня в этом мнении.

Его, казака по рождению (отец – казак донской, мать – казачка кубанская), морского пехотинца (две войны прошел – Финскую и Отечественную, тяжело ранен под Кенигсбергом), влекли батальные темы – они вошли в его жизнь с раннего детства. Ещё мальчишкой он видел Буденного – в родном домике, тогда ещё крытом соломой, в 1918 году располагался штаб красных. Дед посвятил этому сюжету в 70–80-е годы несколько больших полотен: многофигурных, с дальними панорамами. Помню “фреску” в домике – карандашный рисунок на белёной стене в горнице, роспись акриловыми красками – всё тот же сюжет с будённовцами, с тачанками.

В войну он служил разведчиком, командиром взвода бригады морской пехоты. В одном из первых боёв добыл себе немецкий автомат, с ним и воевал. Рассказывал:

– Десантировали нас однажды с самолета, а у меня парашют не раскрылся. Сто пятьдесят метров падал и прощался с жизнью. Дело было зимой, выручила воронка от бомбы, снегом заполненная. В неё я бухнулся, сознание потерял. От страха – жить-то охота! Очнулся, обглядел себя – всё целое. Пошел своих искать... А вообще на войне весело было! Сколько мы смеялись! Молодые потому что. А страшно – в первой атаке. Ты видишь врага, он тебя. Все поджилки трясутся. А потом привыкаешь, конечно...

Из тягостных воспоминаний: однажды он стал свидетелем прямого попадания мины в командирский блиндаж. Их комиссару оторвало обе ноги. Он тоже мог погибнуть и внутренне был к этому готов. И всё равно в каждую свободную минуту делал наброски в блокноте, мечтал: “Если выживу, буду рисовать”.

Это чудо, что он – защитник Невской Дубровки, выжил. Самое кровопролитное место боев на Ленинградском фронте, число погибших здесь достигло трёхсот тысяч человек. Уже после войны историки подсчитали – кубический метр земли с “Невского пятачка” содержит около 10 килограммов металла – пули, гильзы, осколки... А рядом – блокадный Ленинград, где каждый день под бомбёжками, в муках голода умирали женщины, дети. Враг наступал, топтал и жёг русскую землю. Казалось, нет силы, которая могла бы остановить эту страшную армаду.

Михаил Евдокимович говорил мне:

– На войне я убил 37 фашистов. Когда демобилизовался, попросил записать это число в военном билете.

В жизни его сошлись три местности, три территории: наш Калач с окрестностями — его родина, неиссякаемый источник вдохновения, кубанский город Армавир, где прошла его юность и где он получил своё первое образование живописца, и Ленинград — с Академией художеств, с Русским музеем и Эрмитажем, где его дарование приобрело настоящую огранку. Его творческий путь — из глубокой провинции в культурную столицу — можно было бы назвать “подарком судьбы”, если бы не гражданская война и лишения, на которые пришлось его детство, если бы не голод 30-х годов, совпавший с началом его самостоятельной жизни, если бы не две войны и ленинградская блокада, в которой он потерял семью, если бы не распад СССР и торжество чужебесия — на телеэкранах, сценах, в выставочных залах и галереях.

Дед не был коммунистом в смысле принадлежности к известной партии, но он был образованным русским человеком, достаточно начитанным, он работал всю свою жизнь, ценил прекрасное, и он, конечно, сильно переживал за происходящее в России. Казалось бы, всё у тебя лично относительно устроено — ну что тебе за дело до политики?! Тем более что пишешь ты преимущественно пейзажи и натюрморты из деревенской жизни. Но не потому ли такими достоверными и живыми получались эти картины, что дед жил честной и думающей жизнью?! Будь он социальным трусом, эгоистом, конъюнктурщиком, не помогло бы ему наработанное мастерство и природный талант, и его работы выглядели бы лживыми, “зализанными”, мёртвыми, в лучшем случае, рядовыми, обычными. Но мысль, рука и кисть связаны — не только натура отражалась на холстах деда, но и его душа.

Он был политизированным человеком — изрядное время наших встреч уходило на обсуждение текущей обстановки в стране. Ельцина, Горбачева, Гайдара, Чубайса, еврейских олигархов иначе, чем “твари” и “подонки”, дед не называл. Разговоры наши были далеки от политкорректности — в нас кричала боль за происходящее. Помню, к деду иногда захаживал местный коммунист с неизменной “Советской Россией” в руках, с ним они тоже вели дискуссии о спасении Отечества. Дед был пессимистом:

— Через 50 лет России не будет, и русские, как народ, растворятся среди других наций.

Неужели он прав?! . . . Потому что в моём поколении таких “орлов”, как он, мне уже не довелось встретить. Во всяком случае, среди писателей и художников.

Пока позволяло зрение, дед много читал, я ему тоже подкидывала что-нибудь интересное. Помню, в одну из наших встреч подарила несколько стихотворных сборников “Басни и сказы про ельцинские проказы” — политические сатиры, сочинённые Валентином Сорокиным. В следующее моё посещение Михаил Евдокимович выражал бурные восторги:

— Ты меня порадовала! Думаю, надо людям раздать, пусть знают. А себе я басни переписал в тетрадку.

Он с громадным уважением относился к Михаилу Шолохову. В советские времена выпросил себе командировку в Союзе художников и отправился в Вёшенскую, чтобы запечатлеть писателя. Но никакой договорённости о позировании, разумеется, не было. И тогда он подрядился привезти Шолохову лук от колхоза, чтобы исподволь рассмотреть “модель”. Конечно, в станице такие новости не скроешь — вскоре художник был разоблачён... Но казак казака всегда поймёт, и целую неделю Михаил Евдокимович жил у своего знаменитого тёзки. Шолохов сказал, что не будет ему специально позировать: “Я буду работать, а ты пиши”. Так появилось несколько портретов писателя, этюды на темы гражданской войны, которыми дед очень дорожил. Часть этих работ можно увидеть в музее в Вёшенской.

Он рисовал с детства, и первый решительный шаг к творчеству сделал в 17 лет на базаре в Армавире — в этот город их семья перебралась в 20-е годы. Увидел своего сверстника Колю, который бойко торговал картинками, намалёванными на фанерках. Набрался смелости и спросил, где тот берёт краски. Оказывается, неподалёку была мастерская, где рисовали вывески. И использованные банки из-под краски выбрасывали, но на дне ещё можно было кое-что наскрести. Он сразу насобирал мешок банок, на четырёх кусках фанеры изобразил море, берег, парус. Дед вспоминал:

— Я был браваый, тонкий, весёлый. В черкеске, с кинжалом, на голове кубанка. Хожу, кричу: “Вот оно, вот оно, ночью работано, днём продаётся,

чуть-чуть не даром отдаётся”. Вот берут, так берут – сколько было, столько есть!.. Народ хохочет, подбадривает”.

Картинки его с первого дня имели “рыночный успех”, а после уже и заказчики появились. Как ни странно, но в базарной истории у нас с дедом тоже были точки пересечения. Ещё не помышляя о рассказах, но уже робко подумывая о журналистике, я понимала: будучи жутко стеснительной, скромной, не преодолев барьер общения, я никогда не смогу поменять работу. И тогда я отправилась торговать огурцами и ранней капустой на базар. Хотя овощи были с нашего огорода, “трудовые”, а не спекулятивные, я испытывала сильнейшее чувство неудобства – в любой момент меня могли здесь увидеть знакомые, одноклассники... (Оглядываясь на прошлое, я думаю: какая же нравственная пропасть лежала между так называемым “простым народом” и теми, кто форсировал “залоговые аукционы” и прочие “приватизации”, кто торговал не огурцами, а островами и шельфами – национальным достоянием страны!..) Чтобы ускорить продажи, я перешла на шутки-прибаутки, и товар быстро разобрали. Две базарных “сессии” на калачевском рынке не только изменили мой взгляд на торговое дело (в нём нет ничего мудрёного), но и добавили мне недостающей уверенности в общении с незнакомыми людьми.

А Коля подсказал своему молодому “коллеге”, что в Армавире есть художественная школа и что туда можно поступить учиться. “Когда я вошел в это здание, поднялся на второй этаж, где находился большой зал с колоннами и висели картины настоящих художников, я замер, очарованный... Забыл, зачем пришёл”. В те восторженные минуты в нём окрепла мечта – стать живописцем, писать классику. Четырехлетнюю профтехническую школу в Армавире он закончил с отличием за два года и получил направление в подготовительные классы Всероссийской Академии художеств.

Дед особенно любил вспоминать, какое нетерпение его жгло – поскорее очутиться в Ленинграде, в Академии, так что он подделал число на билете, чтобы не ждать еще три дня до отправления поезда. (Талант безусловный: мог бы деньги “рисовать” и жить безбедно, а этот юноша рвался учиться!) Но в горячке он перепутал составы и через сутки вышел на перроне в Тбилиси... Без гроша в кармане, голодный, в багажном ящике добрался он-таки до Ленинграда и прямо с вокзала помчался в Академию. С горящим взором, в черкеске (за поясом – кинжал!), без стука широко распахнул дверь приёмной комиссии. “За столом сидели два пожилых человека, и они еле вымолвили: – Что вам нужно?.. – Поступать приехал!..” Недоразумение счастливо разрешилось (академики перепугались, приняв лихого абитуриента за разбойника), документы для поступления оказались в порядке, но вот только жить – целый месяц – Ткачёву было негде. Возвращаться домой?!.. Ну уж нет, не такой характер! Ровно месяц он скитался по городу: ночевал под эстрадой Соловьёвского садика, на Балтийском вокзале, на бревнах, что лежали на Лермонтовском проспекте, и даже в одном из склепов Александро-Невской лавры. “И тепло мне было, и с неба не капало. Страшно? Честно говоря, не очень. За день уставал – работал, рисовал виды Невы, баржи разгружал, добывая на пропитание, поэтому падал и засыпал как убитый”.

Не помню, чтобы мы с дедом обсуждали религиозные вопросы – мистицизм его не увлекал. Я видела много его работ, и ни на одной из них не было изображений храма или креста как центральных фигур композиции. По-моему, он всё-таки был атеистом, хотя Бог его берёт. Но его безрелигиозность не была воинственной или пренебрежительной по отношению к верующим, в его атеизме чувствовалось нечто глубокое и много передуманное. Вера в нём жила, но она была иной, не обрядовой, и верил он не в Бога, а в труд, искусство и красоту. За свою долгую жизнь он перепробовал множество жанров – рисунок, промышленная графика (плакаты), скульптура малых форм (на столе в домике у него была отличная ваза для кистей с античными мотивами из глазурированной глины). Каково же было моё удивление, когда дед как-то обмолвился – он писал иконы! По-моему, речь шла о “застойных” временах, о неофициальных заказах.

Жизнелюбие его проявлялось и в том, что деду нравилось писать обнажённую натуру, и в этом жанре у него были серьёзные достижения. До войны он на речке слепил из глины обнажённую девушку, погрузившую ноги в воду. Народ на противоположном берегу подумал, что это – утопленница, вызвали

милицию. Такова была сила достоверности его искусства! В годы нашего общения редкое лето у него обходилось без картин, запечатлевших обнажённые женские прелести. Натурщицы жили рядом, чуть ли не на соседней улице, но дед умел рассмотреть в них красавиц, и более того, как-то убеждал их позировать!.. Работы эти были свежи, как всегда неожиданны по композиции, естественны, и опять же, в них не было ничего вульгарного. Восхищение молодостью, радость жизни, скорее даже – сама жизнь! Он всегда шёл от природы, легко, чуть пружиня, будто проходя по деревянным мосткам через речку (ещё один сюжет его этюдов), и потому ухитрялся не впадать в натурализм – словно внутри, в нём самом, горела волшебная “лампочка”, которая совсем по-иному освещала мир.

Правда, что-то мне подсказывает, что на заре его творческого становления именно “телесное” сделало “подножку” духовному. Поступив на рабфак Института живописи, скульптуры и архитектуры Ленинградской Академии, молодой художник не смог закончить курс – его отчислили по решению товарищеского суда. Дед так объяснял это своё жизненное крушение: “Один из парней, поступавших вместе со мной, не прошёл по конкурсу. Его оставили служить в пожарной команде, он мог пользоваться академической библиотекой. И тогда парень открыл свой “бизнес” – вырывал из книг цветные репродукции и продавал студентам. При обыске две картинки нашли и у меня”.

Мы не обсуждали с дедом, что было изображено на репродукциях. (Возможно, “Даная” или “Венера” каких-либо европейских мастеров.) Но, кажется, он был не вполне виноват в случившемся, потому что ему, художнику-изгою, ютившемуся в подвале Академии, студенты несколько месяцев носили еду. И это при том, что хлеб тогда давали по карточкам!

Шел 1933 год. Летом он поехал в Калач, куда к этому времени вернулась с Кубани их семья, но мать его встретила лепёшками из лебеды – голод был страшный. Тогда он вернулся в Ленинград, устроился на фабрику-кухню оформителем, там же питался, жил. Ночевал на столе, зимой ходил в пиджак и кепочке – на теплую одежду не было денег. И всё равно учился – в Таврическом художественном училище. Молодой человек, один в большом городе, без родни, без “блата”, и какая целеустремлённость!.. Поразительно!

Вскоре его призвали на военную службу. Был в этом существенный плюс – способному бойцу разрешили посещать изостудию Дома Красной Армии им. Кирова. Преподавали там педагоги из Академии художеств. Среди них Михаил Иванович Авилов, автор знаменитых картин “Молодой царевич и бояре-воспитатели”, “Опричники в Новгороде”, “Прорыв польского фронта Первой конной армией”. Дед относился к Авилову с глубочайшим уважением, считал, что он сильно повлиял на его творческое становление.

Здесь, в изостудии Дома Красной Армии, судьба его могла ещё раз круто измениться: “Однажды рисую, подсаживается ко мне профессор. Как хорошо, говорит, у вас получается, вы учились где-то? Лицо мне ваше знакомо. – Да вы же, Павел Семенович, меня и выгнали из Академии...” Это был известный художник-педагог Павел Наумов. В Первую мировую он вместе с Есениным служил санитаром в Царском Селе, оставил нам карандашный портрет поэта того времени. (“Вот, – думала я, – и у меня обнаружилась прямая связь с Есениным – через деда, который много общался с Наумовым”.)

Профессор оценил творческое упорство изгнанника и предложил Ткачёву вернуться в Академию. “Я отказался. Лучше уж пойду в ЛениЗо, где можно и учиться, и зарабатывать”. Дед, наверное, лукавил – дело было не только в материальных выгодах (копиистам из ЛениЗо хорошо платили), но и в оскорблённом самолюбии – казачий характер, нравный!

Может быть, вот эта его порывистость, темперамент и определили со временем главную черту его творчества – импрессионизм, безусловно, русский, самобытный (и по материалу и по технике), и в то же время “советский” – по своему свободному, жизнерадостному мироощущению. Он жил во времена, когда человек был хозяином своей судьбы, своей страны и своего творчества. И это чувство счастливой соединённости с миром неуловимо передавалось на его полотнах: плывёт ли лодка по реке, или склоняются к водам ивы, пегая корова щиплет траву у забора, или цветут жарки в степи, девушка позирует у весенней яблони, или дразнят краснощёкие яблоки в белой эмали-

рованной чашке – всё в зрителе рождает сопричастность, здоровую зависть. В лодку хочется сесть, а в теньке под ивами полежать; корова, видно, своя, справная, домашняя, и хозяева у неё крепкие, а степные жарки, что ж, они быстро отходят, оттого грустно; да и яблоню сколько ни обнимай – юность прошла, одна радость – спелым яблочком насладиться, зрелостью жизни...

Дед говорил мне:

– Сапоги сшить – тоже искусство. Или табуретку сколотить, если в это душу вкладывать. Но сложнее всего – искусство образное, то, что создает образ.

Из всех своих книг я подарила ему только первую – “Предчувствие” – в которой не разочаровалась и поныне. Для меня она тоже была “персональной выставкой” – этюдов, жанровых сценок, настроений. “Я прочитал твою книжечку, – сказал мне дед. – Мне понравилось!” Я кивнула, из самоуверенности принимая его оценку как должное.

Мы сидим на дворе, в теньке. Под вербой столетней, на брёвнышке. Красота – лето в самой макушке! Грустнее всего от полного счастья: что тепло, что деревья зеленые, небо синее, земля изо всех сил родит – вчера вон какой дождь пропорол... А после, когда тепло начнет убывать: ну, не то... А жизнь?! Ужас как летит, и сладкие денечки в сундук не положишь, с собой не возьмешь...

Деда, конечно, угнетало, что его, члена Союза художников с 1952 года, принимали и признавали в Питере как бы “сквозь зубы”. И это при том, что картины его были во многих музеях – Русском, Военно-Морском, Обороны Ленинграда, не говоря уж о провинциальных собраниях. Особенно к Ткачёву тянулись зарубежные коллекционеры и галерейщики – англичане, немцы, американцы, японцы, французы, финны. Лучшие его работы потихоньку перекочёвывали за рубеж, а наши музеи тем временем заполнялись копиями “чёрных квадратов” и прочим сомнительным “новаторством”.

У деда была только одна персональная выставка в Ленинградском отделе Союза художников – в 1988 году, и это грандиозное событие грело ему душу всю оставшуюся жизнь. Он часто возвращался к нему в своих воспоминаниях: “У академика Моисеенко (прославленный живописец выставлялся в соседних залах) было тридцать отзывов, а у меня триста!” Михаилу Евдокимовичу в пору выставки стукнуло 75 – признания он дожидался долго.

Обладая большой работоспособностью и не получая десятки лет официального признания (звание “Заслуженного художника РФ” ему присвоили только в 1997 году, на 86-м году жизни!), он не скатился в коммерцию, в “штамповку”, в кич и самоповтор (то, что диссидентство и модернизм – не его стезя, думаю, понятно). Художник в нём победил все соблазны. Какой же внутренней силой, убеждённостию надо было обладать, чтобы так упорно торить свой путь! Многие творцы “из народа”, обладающие ярким дарованием, не выдерживают, поддаются конъюнктуре – не всегда из материальных выгод, скорее из хитрости, в надежде добиться большей известности. Михаил Евдокимович на это не пошел! А ведь мог бы!.. Но искусство было ему дороже славы.

Теперь, спустя годы, вглядываясь в его внешне простую жизнь, которая протекала на моих глазах, я невольно вспоминаю ещё один его автопортрет – замечательную акварель 1946 года. На ней запечатлен роковой красавец, покоритель морей. Синие полоски тельняшки, алый платок завязан на затылке на пиратский манер, но главное – не одежда “с вызовом”, а выражение лица, глаз. С акварели внимательно смотрит умный, много повидавший человек, уверенно держащий в руках штурвал жизни. И этот внутренний стержень, скрытый за простотой его калачевского быта, сохранился в Михаиле Евдокимовиче до глубокой старости. Жизнь его словно бы таила в себе несколько других миров, но они не разрушали его цельности, а делали его ещё сильнее.

И всё-таки он дождался своего “звёздного часа”, и мне тепло на сердце от того, что к этой его радости я оказалась причастной. В 2002 году в издательстве “Вече” выходила книга “Самые знаменитые живописцы России”, составляла которую искусствовед Капитолина Кокшенёва. Сборник охватывал огромный период – восемьсот лет развития русской живописи, и в самом конце его, после творческих биографий Андрея Рублева, Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Василия Сурикова и других прославленных живописцев был небольшой раздел, посвященный современ-

ным художникам. Я попросила составителя разместить там информацию о Михаиле Ткачёве. Жаль, что в те времена у меня не было под рукой достойной иллюстрации, и в дело пошёл один из “дедовских” домиков – по правде говоря, не самый лучший. Но всё равно: справедливость таким образом восторжествовала! Я знаю, что в Питере Михаилу Евдокимовичу многие звонили, поздравляли, книгу эту он увидел даже раньше, чем я, несколько экземпляров привозил летом в Калач, с гордостью показывал издание своим гостям.

В общем, я пролила бальзам на его душу, и в этом событии было много чудесно-невероятного. Прежде всего для меня – как быстро, оказывается, был пройден этот путь – от альбома “Художники Третьяковской галереи”, который я рассматривала на переговорном пункте, до книги “Самые знаменитые живописцы России”, где уже есть и частичка моего влияния. . .

То был счастливый для деда год – год его 90-летия, к юбилею было приурочено ещё одно знаменательное событие – выход альбома “Михаил Ткачёв. Живопись. Графика. Мелкая пластика” под общей редакцией Савелия Ямщикова.

Альбом собирала и готовила к печати дочь деда Наташа. Помню, как мы вместе перелистывали страницы издания, сидя в домике и рассматривая репродукции. Это было удивительное чувство: некоторые работы из последней части книги я видела “живьём” в это же комнате, а теперь они “отчуждены”, официально признаны произведениями искусства.

И снова дед меня удивил: альбом ему не понравился. Даже в преклонные годы он не потерял зоркости художника, умел оценить сделанное по достоинству. С формальной стороны работа была выполнена добротнo: толковый биографический очерк, живопись и графика в хронологическом порядке, фотографии персональной выставки, отзывы посетителей, каталог. . . Но, во-первых, печать оставляла желать много лучшего, а во-вторых, сам подбор работ был не шедевральный, даже я понимала, что такой состав не передаёт всех достижений художника.

Дед ворчал: “Наташа продала несколько картин, собрала альбом, насовала в него всякого. . . Я прибалывал, не мог всё отследить”. Он мечтал выпустить ещё одно собрание репродукций – “такое, как я хочу”. И рассказывал мне про свои картины, которые висят у него дома: “Умру, делайте что хотите, а пока живой, продавать не дам. Ни за какие деньги”.

Что ж, мой рассказ приближается к неизбежному финалу. . . С годами дед стал плоховато слышать: я приходила к нему в домик, видела, как, лёжа на кровати, застеленной байковым одеялом, он прижимает радио к уху, слушает новости. Но это ничего, страшнее было другое – он начал слепнуть! Старость и катаракта отнимали у него то, что составляло его жизнь – возможность творчески работать! В последнюю нашу встречу – кажется, летом 2005-го – он подарил мне грубоватый, незаконченный этюд: “Писал по памяти, на догадку, почти ничего не видя. . .”

Зимой его домик в очередной раз обворовали. Дед стал совсем старым, беспомощным.

И я к нему тоже пришла не то, чтобы обворованная, но сильно обиженная жизнью – я похоронила сестру, маму; на душе было смутно, меня всё больше захватывала житейская непогода, я стремительно теряла уверенность в себе, все прежние опоры шатались, меня начинала кружить, захватывать стихия саморазрушения. Всё казалось ничтожным, мелким перед этими потерями, ничего не спасало – ни искусство, ни творчество. “Зачем он сюда приехал?” – с тоской думала я, глядя на деда, понимая, как тяжело ему тут придётся.

А он, словно отвечая на мой мысленный вопрос, говорил:

– Зов родины, родина зовёт!

И я, молодая ещё, здоровая, в очередной раз позавидовала ему – глухому, полуслепому старику, поразила его сила жизни и сила таланта. Сила жизни земли часто не освящена никакой религией, только инстинктом. А сила смирения перед ударами судьбы иногда готова нас подвинуть навстречу смерти, к лёгкому согласию “на всё”.

Я спустилась вниз по улице Герцена, в руке у меня был незаконченный, беззащитный этюд, сердце моё щемило. Но я не плакала, ожесточившись перенесёнными потерями. Я шла и смотрела не под ноги, а на высокий, похожий

на каравай, купол неба. И, как не раз уже бывало со мной в трагические минуты, я опять остро ощутила торжественную красоту этой большой и всё-таки неподвластной нам жизни. В тот день в храме природы был праздник, она ликовала и, возможно, что-то хотела сказать мне в утешение... Но я прислушивалась только к себе и чувствовала, что с дедом мы больше не увидимся.

Он умер на 97-м году жизни, не исполнив своей шутилой мечты – дожить до ста лет.

Но пусть на моей “картине” художник Михаил Ткачёв будет живым, красивым и сильным, каким он и остался в моей памяти. Пройдут годы и годы, и искусство его – солнечное, щедрое, запечатлевшее частицу его большой души – так же будет радовать нас, как и прежде. Настоящее – остаётся. И мы остаёмся в нём...